

Ги де Мопассан. Мадмуазель Фифи

Майор, граф фон Фарльсберг, командующий прусским отрядом, дочитывал принесенную ему почту. Он сидел в широком ковровом кресле, задрав ноги на изящную мраморную доску камина, где его шпоры — граф пребывал в замке Ювиль уже три месяца — продолбили пару заметных, углублявшихся с каждым днем выбоин.

Чашка кофе дымилась на круглом столике, мозаичная доска которого была залита ликерами, прожжена сигарами, изрезана перочинным ножом: кончив иной раз чинить карандаш, офицер-завоеватель от нечего делать принимался царапать на драгоценной мебели цифры и рисунки.

Прочитав письма и просмотрев немецкие газеты, поданные обозным почтальоном, граф встал, подбросил в камин три или четыре толстых, еще сырых полена, — эти господа понемногу вырубали парк на дрова, — и подошел к окну.

Дождь лил потоками; то был нормандский дождь, словно изливаемый разъяренной рукою, дождь косой, плотный, как завеса, дождь, подобный стене из наклонных полос, хлещущий, брызжущий грязью, все затопляющий, — настоящий дождь окрестностей Руана, этого ночного горшка Франции.

Офицер долго смотрел на залитые водой лужайки и вдаль — на вздувшуюся и выступившую из берегов Андель; он барабанил пальцами по стеклу, выстукивая какой-то рейнский вальс, как вдруг шум за спиною заставил его обернуться: пришел его помощник, барон фон Кельвейнгштейн, чин которого соответствовал нашему чину капитана.

Майор был огромного роста, широкоплечий, с длинною веерообразной бородою, ниспадавшей на его грудь подобно скатерти; вся его рослая торжественная фигура вызвала представление о павлине, о павлине военном, распутившем хвост под подбородком. У него были голубые, холодные и (покойные глаза шрам из щеке от сабельного удара, полученного во время войны с Австрией, и он слыл не только храбрым офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, маленький, краснолицый, с большим, туго перетянутым животом, коротко подстригал свою рыжую бороду; при известном освещении она приобретала пламенные отливы, и тогда казалось, что лицо его натерто фосфором. У него не хватало двух зубов, выбитых в ночь кутежа, — как это вышло, он хорошенько не помнил, — и он, шепелявя, выплевывал слова, которые не всегда можно было понять. На макушке у него была плешь, вроде монашеской tonsury; руно коротких курчавившихся волос, золотистых и блестящих, обрамляло этот кружок обнаженной плоти.

Командир пожал ему руку и одним духом выпил чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапорт своего подчиненного о происшествиях по службе; затем они подошли к окну и признались друг другу, что им невесело. Майор, человек спокойный, имевший семью на родине, приспособлялся ко всему, но капитан, отъявленный кутила, завсегдатай притонов и отчаянный юбочник, приходил в бешенство от вынужденного трехмесячного целомудрия на этой захолустной стоянке.

Кто-то тихонько постучал в дверь, и командир крикнул: "Войдите!" На пороге показался один из их солдат-автоматов; его появление означало, что завтрак подан.

В столовой они застали трех младших офицеров: лейтенанта Отто фон Гросслинга и двух младших лейтенантов, Фрица Шейнаубурга и маркиза Вильгельма фон Эйрик, маленького блондина, надменного и грубого с мужчинами, жестокого с побежденными и вспыльчивого, как порох.

С минуты вступления во Францию товарищи звали его не иначе, как Мадмуазель

Фифи. Этим прозвищем он был обязан своей кокетливой внешности, тонкому, словно перетянута корсетом стану, бледному лицу с едва пробивавшимися усиками, а также усвоенной им привычке употреблять ежеминутно, дабы выразить наивысшее презрение к людям и вещам, французские слова "fi", "fi donc" [1], которые он произносил с легким присвистом.

[1] Французские междометия, выражающие укоризну, недовольство, презрение, отвращение.

Столовая в замке Ювиль представляла собою длинную, царственно пышную комнату; ее старинные зеркала, все в звездообразных трещинах от пуль, и высокие фландрские шпалеры по стенам, искромсанные ударами сабли и кое-где свисавшие лохмами, свидетельствовали о занятиях Мадмуазель Фифи в часы досуга.

Три фамильных портрета на стенах — воин, облаченный в броню, кардинал и председатель суда — курили теперь длинные фарфоровые трубки, а благородная дама в узком корсаже надменно выставляла из рамы со стершейся позолотой огромные нарисованные углем усы.

Завтрак офицеров проходил почти безмолвно. Обезображенная и полутемная от ливня комната наводила уныние своим видом завоеванного места, а ее старый дубовый паркет был покрыт грязью, как пол в кабаке.

Окончив еду и перейдя к вину и курению, они, как повелось каждый день, принялись жаловаться на скуку. Бутылки с коньяком и ликерами переходили из рук в руки; развалившись на стульях, офицеры непрестанно отхлебывали маленькими глотками вино, не выпуская изо рта длинных изогнутых трубок с фаянсовым яйцом на конце, пестро расписанных, словно для соблазна готтентотов.

Как только стаканы опорожнялись, офицеры с покорным и усталым видом наполняли их снова. Но Мадмуазель Фифи при этом всякий раз разбивал свой стакан, и солдат немедленно подавал ему другой.

Едкий табачный туман заволакивал их, и они, казалось, все глубже погружались в сонливый и печальный хмель, в угрюмое опьянение людей, которым нечего делать.

Но вдруг барон вскочил. Дрожа от бешенства, он выкрикнул:

— Черт побери! Так не может продолжаться. Надо, наконец, что-нибудь придумать!

Лейтенант Отто и младший лейтенант Фриц, оба с типичными немецкими лицами, неподвижными и глубокомысленными, спросили в один голос:

— Что же, капитан?

Он с минуту подумал, потом сказал:

— Что? Если командир разрешит, надо устроить пирушку!

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирушку, капитан? Барон подошел к нему:

— Я беру все хлопоты на себя, господин майор. Слушаюсь будет отправлен мною в Руан и привезет с собою дам; я знаю, где их раздобыть. Приготовят ужин, все у нас для этого есть, и мы по крайней мере проведем славный вечерок.

Граф фон Фарльсберг улыбнулся, пожимая плечами:

— Вы с ума сошли, друг мой.

Но офицеры вскочили со своих мест, окружили командира и взмолились:

— Разрешите капитану, начальник! Здесь так уныло.

Наконец майор уступил, сказав: "Ну, хорошо", — и барон тотчас же послал за Слушаюсь. То был старый унтер-офицер; он никогда не улыбался, но фанатически

выполнял все приказания начальства, каковы бы они ни были.

Вытянувшись, он бесстрастно выслушал указание барона, затем вышел, и пять минут спустя четверка лошадей уже мчала под проливным дождем огромную обозную повозку с натянутым над нею в виде свода брезентом.

Тотчас все словно пробудилось: вялые фигуры выпрямились, лица оживились, и все принялись болтать. Хотя ливень продолжался с тем же неистовством, майор объявил, что стало светлее, а лейтенант Отто уверенно утверждал, что небо сейчас прояснится. Сам Мадмуазель Фифи, казалось, не мог усидеть на месте. Он вставал и садился снова. Его светлые, жесткие глаза искали, что бы такое разбить. Вдруг, остановившись взглядом на усатой даме, молодой блондин вынул револьвер.

— Ты этого не увидишь, — сказал он и, не вставая с места, прицелился. Две пули одна за другой пробили глаза на портрете.

Затем он крикнул:

— Заложим мину!

И разговоры вмиг смолкли, словно вниманием всех присутствующих овладел какой-то новый и захватывающий интерес.

Мина была его выдумкой, его способом разрушения, его любимой забавой.

Покидая замок, его владелец, граф Фернан д'Амуа д'Ювиль, не успел ни захватить с собою, ни спрятать ничего, кроме серебра, замурованного в углублении одной стены. А так как он был богат и любил искусство, то большая гостиная, выходившая в столовую, представляла собою до поспешного бегства хозяина настоящую галерею музея.

По стенам висели дорогие полотна, рисунки и акварели. На столиках и шкафах, на этажерках и в изящных витринах было множество безделушек: китайские вазы, статуэтки, фигурки из саксонского фарфора, китайские уроды, старая слоновая кость и венецианское стекло населяли огромную комнату своею драгоценною и причудливою толпой.

Теперь от всего этого не осталось почти ничего. Не то, чтобы вещи были разграблены, — майор граф фон Фарльсберг этого никогда не допустил бы, — но Мадмуазель Фифи время от времени закладывал мину, и в такие дни все офицеры действительно веселились вовсю в течение нескольких минут.

Маленький маркиз пошел в гостиную на поиски того, что ему было нужно. Он принес крошечный чайник из китайского фарфора — семьи "розовых", — насыпал в него порошу, осторожно ввел через носик длинный кусок трута, поджег его и бегом отнес эту адскую машину в соседнюю комнату.

Затем он мгновенно вернулся и запер за собою дверь. Все немцы ожидали, стоя, с улыбкою детского любопытства на лицах, и как только взрыв потряс стены замка, толпою бросились в гостиную.

Мадмуазель Фифи, войдя первым, неистово захлопал в ладоши при виде терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова; каждый подбирал куски фарфора, удивляясь странной форме изломов, причиненных взрывом, рассматривая новые повреждения и споря о некоторых, как о результате предыдущих взрывов; майор же окидывал отеческим взглядом огромный зал, разрушенный, словно по воле Нерона, этой картечью и усеянный обломками произведений искусства. Он вышел первым, благодушно заявив:

— На этот раз очень удачно.

Но в столовую, где было сильно накурено, ворвался такой столб дыма, то стало трудно дышать. Майор распахнул окно; офицеры, вернувшиеся допивать последние рюмки коньяку, тоже подошли к окну.

Комната наполнилась влажным воздухом, который принес с собою облако водяной пыли, оседавшей на бородах. Офицеры смотрели на высокие деревья, поникшие под ливнем, на широкую долину, помрачневшую от низких черных туч, и на далекую церковную колокольню, высившуюся серой стрелой под проливным дождем.

Как только пришли пруссаки, на этой колокольне больше не звонили. То было, впрочем, единственное сопротивление, встреченное завоевателями в этом крае. Кюре ничуть не отказывался принимать на постой и кормить прусских солдат; он даже не раз соглашался распить бутылочку пива или бордо с неприятельским командиром, часто прибегавшим к его благосклонному посредничеству; но нечего было и просить его хоть раз ударить в колокол: он скорее дал бы себя расстрелять. То был его личный способ протеста против нашествия, протеста молчанием, мирного и единственного протеста который, по его словам, приличествовал священнику, носителю кротости, а не вражды. На десять лье в округе все восхваляли твердость и геройство аббата Шантавуана, посмеявшегося утвердить народный траур упорным безмолвием своей церкви.

Вся деревня, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до конца поддерживать своего пастыря, идти на все: подобный молчаливый протест она считала спасением народной чести. Крестьянам казалось, что они оказали не меньшие услуги родине, чем Бельфор и Страсбург, что они подали одинаковый пример патриотизма и имя их деревушки обессмертится; впрочем, помимо этого, они ни в чем не отказывали пруссакам-победителям.

Начальник и офицеры смеялись над этим безобидным мужеством, но так как во всей местности к ним относились предупредительно и с покорностью, то они охотно мирились с таким молчаливым выражением патриотизма.

Один только маленький маркиз Вильгельм во что бы то ни стало хотел добиться, чтобы колокол зазвонил. Он злился на дипломатическую снисходительность своего начальника и ежедневно умолял его позволить один раз, один только разик, просто забавы ради, прозвонить "дин-дон-дон". Он просил об этом с грацией кошки, с вкрадчивостью женщины, нежным голосом отуманенной желанием любовницы; но майор не уступал, и Мадмуазель Фифи, для своего утешения, закладывал мины в замке Ювиль.

Несколько минут все пятеро стояли группой у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец лейтенант Фриц, грубо рассмеявшись, сказал:

— Этим дефицитам выпал дурной фрема для их прокулки.

Затем каждый отправился по своим делам, а у капитана оказалось множество хлопот по приготовлению обеда.

Встретившись снова вечером, они не могли не рассмеяться, взглянув друг на друга: все напоядились, надушились, принарядились и были ослепительны, как в дни больших парадов. Волосы майора казались уже не столь седыми, как утром, а капитан побрился, оставив только усы, пылавшие у него под носом.

Несмотря на дождь, окно оставили открытым, то и дело кто-нибудь подходил к нему и прислушивался. В десять минут седьмого барон сообщил об отдаленном стуке колес. Все бросились к окну, и вскоре на двор влетел огромный фургон, запряженный четверкою быстро мчавшихся лошадей; они были забрызганы грязью до самой спины, дымились от пота и храпели.

И на крыльцо взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно отобранных товарищем капитана, к которому Слушаюсь ходил с визитною карточкой своего офицера.

Они не заставили себя просить, зная наперед, что им хорошо заплатят; за три месяца они успели ознакомиться с пруссаками и примирились с ними, как и с положением вещей вообще. "Этого требует наше ремесло", — убеждали они себя по дороге, без сомнения,

стараясь заглушить тайные укоры каких-то остатков совести.

Тотчас же вошли в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем плачевном разгроме, а стол, уставленный яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, где его спрятал владелец замка, придавал комнате вид таверны, где после грабежа ужинают бандиты. Капитан, весь сияя, тотчас же завладел женщинами, как привычным своим достоянием: он осматривал их, обнимал, обнюхивал, определял их ценность, как жриц веселья, а когда трое молодых людей захотели выбрать себе по даме, он властно остановил их, намереваясь произвести раздел самолично, по чинам, по всей справедливости, чтобы ничем не нарушить иерархии.

Во избежание всяких споров, пререканий и подозрений в пристрастии, он выстроил их в ряд, по росту и обратился к самой высокой, словно командуя:

— Твое имя?

— Памела, — отвечала та, стараясь говорить громче.

И он провозгласил:

— Номер первый, Памела, присуждается командующему.

Обняв затем вторую, Блондинку, в знак присвоения, он предложил толстую Аманду лейтенанту Отто, Еву, по прозвищу Томат, — младшему лейтенанту Фрицу, а самую маленькую из всех, еврейку Рашель, молоденькую брюнетку, с черными, как чернильные пятна, глазами, со вздернутым носиком, не подтверждавшим правила о том, что все евреи горбоносы, — самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик.

Все женщины, впрочем, были красивые и полные; они мало отличались друг от друга лицом, а по причине ежедневных занятий любовью и общей жизни в публичном доме походили одна на другую манерами и цветом кожи.

Трое молодых людей хотели было тотчас же увести своих женщин наверх, под предлогом дать им умыться и почиститься; но капитан мудро воспротивился этому, утверждая, что они достаточно опрятны, чтобы сесть за стол, и что те офицеры, которые пойдут с ними наверх, захотят, пожалуй, спустившись, поменяться дамами, чем расстроят остальные пары. Его житейская опытность одержала верх. Ограничились многочисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель чуть не задохнулась, закашлявшись до слез и выпуская дым из ноздрей. Маркиз под предлогом поцелуя впустил ей в рот струю табачного дыма. Она не рассердилась, не сказала ни слова, но пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз вспыхнул гнев.

Сели за стол. Сам командующий был, казалось, в восторге; направо от себя он посадил Памелу, налево Блондинку и объявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла в голову восхитительная мысль, капитан.

Лейтенанты Отто и Фриц, державшиеся отменно вежливо, словно рядом с ними были светские дамы, стесняли этим своих соседок; но барон фон Кельвейнштейн, чувствуя себя в своей сфере, сиял, сыпал двусмысленными остротами и се своей шапкой огненно-рыжих волос казался объатым пламенем. Он любезничал на рейнско-французском языке, и его кабацкие комплименты, выплунутые сквозь отверстие двух выбитых зубов, долетали к девицам с брызгами слюны.

Девушки, впрочем, ничего не понимали, и сознание их как будто пробудилось лишь в тот момент, когда барон стал изрыгать похабные слова и непристойности, искажаемые вдобавок его произношением. Тогда они начали хохотать, как безумные, приваливаясь на животы соседям и повторяя выражения барона, которые тот намеренно коверкал, чтобы заставить их говорить сальности. И девицы сыпали ими в изобилии. Опытаев от первых

бутылок вина и снова став самими собой, войдя в привычную роль, они целовали направо и налево усы, щипали руки, испускали пронзительные крики и пили из всех стаканов, распевая французские куплеты и обрывки немецких песен, усвоенные ими в ежедневном общении с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные этим столь доступным их обонянию и осязанию женским телом, обезумели, принялись реветь, бить посуду, в то время как солдаты, стоявшие за каждым стулом, бесстрастно прислуживали им.

Только один майор хранил известную сдержанность.

Мадмуазель Фифи взял Рашель к себе на колени. Приходя в возбуждение, хотя и оставаясь холодным, он то начинал безумно целовать черные завитки волос у ее затылка, вдыхая между платьем и кожей нежную теплоту ее тела и его запах, то, охваченный звериным неистовством, потребностью разрушения, яростно щипал ее сквозь одежду, так что она вскрикивала. Нередко также, держа ее в объятиях и сжимая, словно стремясь слиться с нею, он подолгу впивался губами в свежий рот еврейки и целовал ее до того, что дух захватывало; и вдруг в одну из таких минут он укусил девушку так глубоко, что струйка крови побежала по ее подбородку, стекая за корсаж.

Еще раз взглянула она в глаза офицеру и, отирая кровь, пробормотала:

— За это расплачиваются.

Он расхохотался жестоким смехом.

— Я заплачу, — сказал он.

Подали десерт. Начали разливать шампанское. Командующий поднялся и тем же тоном, каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, сказал:

— За наших дам!

И начались тосты, галантные тосты солдафонов и пьяниц, вперемешку с циничными шутками, казавшимися еще грубее из-за незнания языка.

Офицеры вставали один за другим, пытаясь блеснуть остроумием, стараясь быть забавными, а женщины, пьяные вдрызг, с блуждающим взглядом, с отвиснувшими губами, каждый раз неистово аплодировали.

Капитан, желая придать оргии праздничный и галантный характер, снова поднял бокал и воскликнул:

— За наши победы над сердцами!

Тогда лейтенант Отто, напоминавший собою шварцвальдского медведя, встал, возбужденный, упившийся, и в порыве патриотизма крикнул:

— За наши победы над Францией!

Как ни пьяны были женщины, однако они разом умолкли, а Рашель, дрожа, обернулась:

— Ну, знаешь, видала я французов, в присутствии которых ты не посмел бы сказать этого!

Но маленький маркиз, продолжая держать ее на коленях, захохотал, развеселившись от вина:

— Ха-ха-ха! Я таких не видывал. Стоит нам только появиться, как они улепетывают со всех ног!

Взбешенная девушка крикнула ему прямо в лицо:

— Лжешь, негодяй!

Мгновение он пристально смотрел на нее своими светлыми глазами, как смотрел на картины, холст которых продырявливал выстрелами из револьвера, затем рассмеялся:

— Вот как! Ну, давай потолкуем об этом, красавица! Да разве мы были бы здесь, будь они похрабрее?

Он оживился:

— Мы их господа! Франция — наша!

Рывком Рашель соскользнула с его колен и опустилась на свой стул. Он встал, протянул бокал над столом и повторил:

— Нам принадлежит вся Франция, все французы, все леса, поля и все дома Франции!

Остальные, совершенно пьяные, охваченные военным энтузиазмом, энтузиазмом скотов, подняли свои бокалы с ревом: "Да здравствует Пруссия!" — и залпом их осушили.

Девушки, вынужденные молчать, перепуганные, не протестовали. Молчала и Рашель, не имея сил ответить.

Маркиз поставил на голову еврейке наполненный снова бокал шампанского

— Нам, — крикнул он, — принадлежат и все женщины Франции!

Рашель вскочила так быстро, что бокал опрокинулся: словно совершая крещение, он пролил желтое вино на ее черные волосы и, упав на тол, разбился. Ее губы дрожали, она с вызовом смотрела на офицера, продолжавшего смеяться, и, задыхаясь от гнева, пролепетала:

— Нет, врешь, это уж нет; женщины Франции никогда не будут вашими!

Он сел, чтобы вдоволь посмеяться, и, подражая парижскому произношению, сказал:

— Она прелестна, прелестна! Но для чего же ты здесь, моя крошка?

Ошеломленная, она сначала умолкла и в овладевшем ею волнении не осознала его слов, но затем, поняв, что он говорил, бросила ему негодующе и яростно:

— Я! Я! Да я не женщина, я — шлюха, а это то самое, что и нужно пруссакам.

Не успела она договорить, как он со всего размаху дал ей пощечину; но в ту минуту, когда он снова занес руку, она, обезумев от ярости, схватила со стола десертный ножичек с серебряным лезвием и так быстро, что никто не успел заметить, всадила его офицеру прямо в шею, у той самой впадинки, где начинается грудь.

Какое-то недоговоренное слово застряло у него в горле, и он остался с разинутым ртом и с ужасающим выражением глаз.

У всех вырвался рев, и все в смятении вскочили; Рашель швырнула стул под ноги лейтенанту Отто, так что он растянулся во весь рост, подбежала к окну, распахнула его и, прежде чем ее успели догнать, прыгнула в темноту, где не переставал лить дождь.

Две минуты спустя Мадмуазель Фифи был мертв.

Фриц и Отто обнажили сабли и хотели зарубить женщин, валявшихся у них в ногах. Майору едва удалось помешать этой бойне, и он приказал запереть в отдельную комнату четырех обезумевших женщин под охраной двух часовых; затем он привел свой отряд в боевую готовность и организовал преследование беглянки, в полной уверенности, что ее поймут.

Пятьдесят человек, напутствуемые угрозами, были отправлены в парк; двести других обыскивали леса и все дома в долине.

Стол, с которого мгновенно все убрали, служил теперь смертным ложем, а четверо протрезвившихся, неумолимых офицеров, с суровыми лицами воинов при исполнении обязанностей, стояли у окон, стараясь проникнуть взглядом во мрак.

Страшный ливень продолжался. Тьму наполняло непрерывное хлопанье, реющий шорох всей той воды, которая струится с неба, сбегает по земле, падает каплями и брызжет кругом.

Вдруг раздался выстрел, затем издали другой, и в течение четырех часов время от времени слышались то близкие, то отдаленные выстрелы, сигналы сбора, непонятные слова, выкрикиваемые хриплыми голосами и звучавшие призывом.

К утру все вернулись. Двое солдат было убито и трое других ранено их товарищами в

пылу охоты и в сумятице ночной погони.

Рашель не нашли.

Тогда пруссаки решили нагнать страху на жителей, перевернули вверх дном все дома, изъездили, обыскали, перевернули всю местность. Еврейка не оставила, казалось, ни малейшего следа на своем пути.

Когда об этом было доложено генералу, он приказал потушить дело, чтобы не давать дурного примера армии, и наложил дисциплинарное взыскание на майора, а тот, в свою очередь, взгрел своих подчиненных. "Воюют не для того, чтобы развлекаться и ласкать публичных девок", — сказал генерал. И граф фон Фарльсберг в крайнем раздражении решил выместить все это на округе.

Так как ему нужен был какой-нибудь предлог, чтобы без стеснения приступить к репрессиям, он призвал кюре и приказал ему звонить в колокол на похоронах маркиза фон Эйрик.

Вопреки всякому ожиданию священник на этот раз оказался послушным, покорным, полным предупредительности. И когда тело Мадмуазель Фифи, которое несли солдаты и впереди которого, вокруг и сзади шли солдаты с заряженными ружьями, — когда оно покинуло замок Ювиль, направляясь на кладбище, с колокольни впервые раздался похоронный звон, причем колокол звучал как-то весело, словно его ласкала дружеская рука.

Он звонил и вечером, и на другой день, и стал звонить ежедневно; он трезвонил, сколько от него требовали. Порою он даже начинал одиноко покачиваться ночью и тихонько издавал во мраке два — три звука, точно проснулся неизвестно зачем и был охвачен странной веселостью. Тогда местные крестьяне решили, что он заколдован, и уже никто, кроме кюре и пономаря, не приближался к колокольне.

А там, наверху, в тоске и одиночестве, жила несчастная девушка, принимавшая тайком пищу от этих двух людей.

Она оставалась на колокольне вплоть до ухода немецких войск. Затем однажды вечером кюре попросил шарабан у булочника и сам отвез свою пленницу до ворот Руана. Приехав туда, священник поцеловал ее; она вышла из экипажа и быстро добралась пешком до публичного дома, хозяйка которого считала ее умершей.

Несколько времени спустя ее взял оттуда один патриот, чуждый предрассудков, полюбивший ее за этот прекрасный поступок; затем, позднее, полюбив ее уже ради нее самой, он женился на ней и сделал из нее даму не хуже многих других.